

Л.В. Щерба

О ТРОЯКОМ АСПЕКТЕ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ И ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ [1]

(Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. - Л., 1974. - С. 24-39)

Памяти учителя И.А. Бодуэна де
Куртенэ

*Nihil est in dicendo, quod non inhaereat
grammaticae vel hominum actioni. Nihil
est in grammatica, quod non fuerit in
dicto.*

Совершенно очевидно, что хотя при процессах говорения мы часто просто повторяем нами ранее говорившееся (или слышанное) в аналогичных условиях, однако нельзя этого утверждать про все нами говоримое. Несомненно, что при говорении мы часто употребляем формы, которые никогда не слышали от данных слов, производим слова, не предусмотренные никакими словарями, и, что главное и в чем, я думаю, никто не сомневается, сочетаем слова хотя и по определенным законам их сочетания [2], но зачастую самым неожиданным образом, и во всяком случае не только употребляем слышанные сочетания, но постоянно делаем новые. Некоторые наивные эксперименты с выдуманными словами убеждают в правильности сказанного с полной несомненностью. То же самое справедливо и относительно процессов понимания, и это настолько очевидно, что не требует доказательств: мы постоянно читаем о вещах, которые не знали; мы часто лишь с затратой незначительных усилий добиваемся понимания какого-либо трудного текста при помощи тех или иных приемов.

В дальнейшем я буду называть процессы говорения и понимания "речевой деятельностью" (первый аспект языковых явлений), всячески подчеркивая при этом, что процессы понимания, интерпретации знаков языка являются не менее активными и не менее важными в совокупности того явления, которое мы называем "языком", и что они обуславливаются тем же, чем обуславливается возможность и процессов говорения.

Обо всем этом неоднократно говорилось лингвистами, и я хотел бы только подчеркнуть то обстоятельство, что поскольку мы знаем из опыта, что говорящий совершенно не различает форм слов и сочетаний слов, никогда не слышанных им и употребляемых им впервые, от форм слов и сочетаний слов, им много раз употреблявшихся, [3], постольку мы имеем полное право сказать, что вообще все формы слов и все сочетания слов нормально создаются нами в процессе речи, в результате весьма сложной игры сложного речевого механизма человека в условиях конкретной обстановки данного момента. Из этого с полной очевидностью следует, что этот

механизм, эта речевая организация человека никак не может просто равняться сумме речевого опыта (подразумеваю при этом и говорение и понимание) данного индивида, а должна быть какой-то своеобразной переработкой этого опыта. Эта речевая организация человека может быть только физиологической или, лучше сказать, психофизиологической, чтобы этим термином указать на то, что при этом имеются в виду такие процессы, которые частично (и только частично) могут себя обнаруживать при психологическом самонаблюдении. Но само собой разумеется, что сама эта психофизиологическая речевая организация индивида вместе с обусловленной ею речевой деятельностью является социальным продуктом, как это будет ближе разъяснено на стр. 27 и сл. Об этой организации мы можем умозаключить лишь на основании речевой деятельности данного индивида.

Человечество в области языкознания искони и занималось подобными умозаключениями, делаемыми, однако, не на основании актов говорения и понимания какого-либо одного индивида, а на основании всех (в теории) актов говорения и понимания, имевших место в определенную эпоху жизни той или иной общественной группы. В результате подобных умозаключений создавались словари и грамматики языков, которые могли бы называться просто "языками", но которые мы будем называть "языковыми системами" (второй аспект языковых явлений), оставляя за словом "язык" его общее значение. Правильно составленные словарь и грамматика должны исчерпывать знание данного языка. Мы, конечно, далеки от этого идеала; но я полагаю, что достоинство словаря и грамматики должно измеряться возможностью при их посредстве составлять любые правильные фразы во всех случаях жизни и вполне понимать все говоримое на данном языке.

Словарь и грамматика, т.е. языковая система данного языка, обыкновенно отождествлялись с психофизиологической организацией человека, которая рассматривалась как система потенциальных языковых представлений. В силу этого язык считался психофизиологическим явлением, подлежащим ведению психологии и физиологии.

Однако при этом прежде всего забывали то, что все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, внепосредственном опыте (ни в психологическом, ни в физиологическом) нам вовсе не даны, а могут выводиться нами лишь из процессов говорения и понимания, которые я называю в такой их функции "языковым материалом" (третий аспект языковых явлений). Под этим последним я понимаю, следовательно, не деятельность отдельных индивидов, а совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы. На языке лингвистов это "тексты" (которые, к сожалению, обыкновенно бывают лишены вышеупомянутой обстановки); в представлении старого филолога это "литература, рукописи, книги".

Само собой разумеется, что все это - несколько искусственные разграничения, так как очевидно, что языковая система и языковой

материал - это лишь разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности, и так как не менее очевидно, что языковой материал вне процессов понимания будет мертвым, само же понимание вне как-то организованного языкового материала (т.е. языковой системы) невозможно. Здесь мы упираемся в громадную и мало исследованную проблему понимания, которая лежит вне рамок настоящей статьи. Скажу только, что понимание при отсутствии переводов может начинаться лишь с того, что два человека с одинаковым социальным прошлым, естественно или искусственно (научно) созданным, будучи поставлены в одинаковые условия деятельности и момента, возымеют одну и ту же мысль (я имею в виду реальное столкновение двух людей, лишенных каких бы то ни было средств взаимного непосредственного понимания и перевода, например европейского исследователя и, скажем, южноамериканского примитива в естественных условиях жизни этого последнего).

Далее, что еще важнее, система языковых представлений, хотя бы и общих, с которой обыкновенно отождествляют языковую систему, уже по самому определению своему является чем-то индивидуальным, тогда как в языковой системе мы, очевидно, имеем что-то иное, некую социальную ценность, нечто единое и общеобязательное для всех членов данной общественной группы, объективно данное в условиях жизни этой группы (ср. ниже, стр. 28 и сл.).

Вундт как-то умалчивает об этом затруднении, и его "Volkerpsychologie" в конце концов ничем не отличается от простой психологии. Бодуэн пытается выйти из него, создавая понятие "собирательно-индивидуального" (см. "O "prawach" glosowuch", отд. оттиск из "Rocznik slawistyczny" [Krakow, 1910, t. III], стр. 3 оттиска), что несколько напоминает "среднего человека" Дильтея [4]. Однако, по-моему, это понятие не разрешает затруднений. Принять выход, предлагаемый идеалистами, т.е. признать существование языковой системы как какой-то надиндивидуальной сущности, некой "живой объективной идеи", чего-то "идеал-реального" (ср. например: [С.Л.] Франк. Очерк методологии общественных наук. [М.], 1922, стр. 74 и сл.), для меня невозможно в силу инстинктивного отталкивания от всего сверхчувственного. Не могу согласиться и с чистым номинализмом, считающим, что языковая система, т.е. словарь и грамматика данного языка, являются лишь ученой абстракцией (такое впечатление производят, между прочим, рассуждения Сэпира в первой главе его прекрасной книги "Language" [1921]).

Мне кажется, однако, что разрешение вышеуказанных затруднений можно найти на иных путях. Прежде всего возникает вопрос, в каком отношении находится "психофизиологическая речевая организация" владеющего данным языком индивида к этой выводимой лингвистами из языкового материала языковой системе. Очевидно, что она является ее индивидуальным проявлением. В идеале она может совпадать с ней, но на практике организации отдельных индивидов могут чем-то да отличаться от нее и друг от друга. Их, пожалуй, можно было бы действительно называть "индивидуальными языками", если бы в подобном названии не крылось

глубокого внутреннего противоречия, ибо под языком мы разумеем нечто, имеющее прежде всего социальную ценность. И действительно, если индивидуальные отличия речевой организации того или иного индивида оказываются слишком большими, то уж этим самым данный индивид выводится из общества, как например мы это видим у сильно косноязычных [5], некоторых умалишенных и т. п. Терминологически, может быть, лучше всего было бы говорить поэтому об "индивидуальных речевых системах".

Что же такое сама языковая система? По-моему, это есть то, что объективно заложено в данном языковом материале и что проявляется в индивидуальных речевых системах, возникающих под влиянием этого языкового материала. Следовательно, в языковом материале и надо искать источник единства языка внутри данной общественной группы.

Может ли языковой материал быть фактически единым внутри той или иной группы? Поскольку данная группа сама представляет из себя полное единство, т.е. поскольку условия существования и деятельности всех ее членов будут одинаковыми и поскольку все они будут находиться в постоянном взаимном общении друг с другом, постольку для всех них языковой материал будет фактически един: ведь каждая фраза каждого члена группы при таких обстоятельствах осуществляется одновременно для всех ее членов. Для единства грамматики достаточно частичного фактического единства языкового материала. Поэтому грамматически мы имеем единый язык в довольно широких группировках; в области же словаря для единства языка должно быть более полное единство материала, а поэтому мы видим, что с точки зрения словаря язык дробится на очень маленькие ячейки вплоть до семьи (единство так называемого "общего языка" в высококультурной среде поддерживается в значительной степени единством читаемого литературного материала). При оценке сказанного надо иметь в виду, что языки, с которыми мы в большинстве случаев имеем дело, не являются языками какой-либо элементарной общественной ячейки, а языками весьма сложной структуры общества, функцией которого они являются (об этом см. ниже).

Каким образом происходят изменения языка и чем объясняется их единство внутри данной социальной группы? Очевидно прежде всего, что языковые изменения обнаруживаются в речевой деятельности. Каковы же факторы этой последней? С одной стороны, единая языковая система, социально обоснованная в прошлом, объективно заложенная в языковом материале данной социальной группы и реализованная в индивидуальных речевых системах; с другой - содержание жизни данной социальной группы. Единство языковой системы обеспечивает единство реакций на это содержание. Все подлинно индивидуальное, не вытекающее из языковой системы, не заложенное в ней потенциально, не находя себе отклика и даже понимания, безвозвратно гибнет. Единство содержания обеспечивает в этих условиях единство языка, и поскольку это содержание внутри группы остается тем же, язык может не изменяться (чего, конечно,

никогда не бывает: практически можно говорить лишь о замедлениях и ускорениях процесса).

Но малейшее изменение в содержании, т.е. в условиях существования данной социальной группы, как то: иные формы труда, переселение, а следовательно и иное окружение и т. п., немедленно отражается на изменении речевой деятельности данной группы и причем одинаковым образом, поскольку новые условия касаются всех членов данной группы. Речевая деятельность, являясь в то же время и языковым материалом, несет в себе и изменение языковой системы. Обыкновенно говорят, что изменение языковой системы происходит при смене поколений. Это отчасти так; но опыт нашей революции показал, что резкое изменение языкового материала неминуемо влечет изменение речевых норм даже у пожилых людей: масса слов и оборотов, несколько лет тому назад казавшихся дикими и неприемлемыми, теперь вошла в повседневное употребление. Поэтому правильнее будет сказать, что языковая система находится все время в непрерывном изменении.

Наконец, всякая социальная дифференциация внутри группы, вызывая дифференциацию речевой деятельности, а следовательно и языкового материала,

Я не могу здесь останавливаться на подробном рассмотрении всех факторов, изменяющих речевую деятельность. Укажу кое-что лишь для примера.

Поскольку речевая деятельность, протекая не иначе как в социальных условиях, имеет своей целью сообщение и, следовательно, понимание, постольку говорящие вынуждены заботиться о том, чтобы у слушающих не было недоразумений, происходящих от смешения знаков речи, и этим объясняются, например, многие диссимилиации, особенно диссимилиации (вплоть до устранения) омонимов, что так наглядно было показано Жильероном (Gillieron) и его школой. Поскольку возможность смешения объективно заложена в определенных местах самой языковой системы, постольку эти тенденции к устранению омонимичности будут общи всем членам данной языковой группы и будут реализовываться одинаковым образом.

В языковой системе данной группы объективно заложены в определенных местах ее и те или другие возможности ассимиляции (в фонетике, морфологии, синтаксисе, словаре). Поэтому, в силу присущей (в пределах исторического опыта) людям тенденции к экономии труда (не касаюсь здесь генезиса этой тенденции, так как это завело бы меня слишком далеко), эти возможности реализуются одинаковым образом у всех членов группы или по крайней мере могут так реализовываться, а потому во всяком случае ни у кого не вызывают протеста (факты так общеизвестны, что на них нечего настаивать).

Можно сказать, что интересы понимания и говорения прямо противоположны, и историю языка можно представить как постоянное возникновение этих противоречий и их преодоление.

Наконец, капитальнейшим фактором языковых изменений являются столкновения двух общественных групп, а следовательно и двух языковых систем, иначе - смешение языков. Процесс сводится в данном случае к тому, что люди начинают говорить на языке, который они еще не знают. Языковой материал, которому они стремятся подражать, един; языковая система, которая определяет их языковую деятельность, едина. Поэтому они одинаковым образом искажают в своей речевой деятельности то, чему подражают. Если со стороны другой группы по тем или иным социальным причинам нет достаточного сопротивления, то результаты одинаковым образом "искаженной" речевой деятельности, являясь в то же время и языковым материалом, обуславливают резкое изменение языковой системы.

Так как процессы смешения происходят не только между разными языками, но и между разными групповыми языками внутри одного языка, то можно сказать, что эти процессы являются кардинальными и постоянными в жизни языков, как это - полнее всего относительно семантики - и было показано Мейе.

При восприятии одной группой языка другой группы может иметь место не только неполное им овладение, но и изменение и переосмысление его в целях приспособления к иному или новому социальному содержанию. Таковы многие языковые изменения нашей эпохи, особенно ярким примером которых может служить переосмысление хотя бы таких слов, как "господин", "товарищ".

Выше было сказано, что изменения языка всего заметнее при смене поколений. Но само собой понятно, что все изменения, подготовленные в речевой деятельности, обнаруживаются легче всего при столкновении двух групп. Поэтому историю языка можно в сущности представить как ряд катастроф, происходящих от столкновения социальных групп (ср. мою статью "Sur la notion du melange des langues" в Яфетическом сборнике, IV, 1925, стр. 7).

На этом я остановлюсь, указав лишь еще раз, что в реальной действительности вся картина сильно усложняется и затемняется тем, что некоторые группы населения могут входить в несколько социальных группировок и иметь, таким образом, отношение к нескольким языковым системам. От степени изолированности разных групп друг от друга зависит способ сосуществования этих систем и влияния их друг на друга (об этом см. мою вышеупомянутую статью, стр. 10 и сл.). Некоторые из этих сосуществующих систем могут считаться для их носителей иностранными языками. Таковым, между прочим, для большинства групп является так называемый "общий язык", "langue commune" [6]. Этот последний, конечно, не надо смешивать с "литературным языком", который, хотя и находится с "общим" в определенных функциональных отношениях, имеет, однако, свою собственную сложную структуру. Общий язык всегда и изучается как иностранный, с большим или меньшим успехом в зависимости от разных условий. Таких общих языков может быть несколько в каждом данном обществе, соответственно его структуре, и они

могут иметь разную степень развитости. Само собой разумеется, что субъективно общий "иностранный" язык зачастую квалифицируется как родной, а родной - как групповой. Это, впрочем, и отвечает структуре развитых языков, где все групповые языки, в них входящие, считаются "жаргонами" по отношению к некоторой норме - "общему языку", который, целиком отражая, конечно, социальный уклад данной эпохи, исторически сам восходит через процессы смешения к какому-то групповому языку.

Таким образом, лингвисты совершенно правы, когда выводят языковую систему, т.е. словарь и грамматику данного языка, из соответственных "текстов", т.е. из соответственного языкового материала. Между прочим, совершенно очевидно, что никакого иного метода не существует и не может существовать в применении к мертвым языкам.

Дело обстоит несколько иначе по отношению к живым языкам, и здесь и лежит заслуга Бодуэна, всегда подчеркивавшего принципиальную, теоретическую важность их изучения. Большинство лингвистов обыкновенно и к живым языкам подходит, однако, так же, как к мертвым, т.е. накапливают языковой материал, иначе говоря - записывают тексты, а потом их обрабатывают по принципам мертвых языков. Я утверждаю, что при этом получают мертвые словари и грамматики. Исследователь живых языков должен поступать иначе. Конечно, он тоже должен исходить из так или иначе понятого языкового материала. Но, построив из фактов этого материала некую отвлеченную систему, необходимо проверять ее на новых фактах, т.е. смотреть, отвечают ли выводимые из нее факты действительности. Таким образом, в языкознание вводится принцип эксперимента. Сделав какое-нибудь предположение о смысле того или иного слова, той или иной формы, о том или ином правиле словообразования или формообразования и т. п., следует пробовать, можно ли сказать ряд разнообразных фраз (который можно бесконечно множить), применяя это правило. Утвердительный результат подтверждает правильность постулата и, что любопытно, сопровождается чувством большого удовлетворения, если подвергшийся эксперименту сознательно участвует в нем.

Но особенно поучительны бывают отрицательные результаты: они указывают или на неверность постулированного правила, или на необходимость каких-то его ограничений, или на то, что правила уже больше нет, а есть только факты словаря, и т. п. Полная законность и громадное значение этого метода иллюстрируются тем, что когда ребенок учится говорить (или взрослый человек учится иностранному языку), то исправление окружающими его ошибок ("так никто не говорит"), которые являются следствием или невыработанности у него, или нетвердости правил (конечно, бессознательных), играет громадную роль в усвоении языка. Особенно плодотворен метод экспериментирования в синтаксисе и лексикографии и, конечно, в стилистике. Не ожидая того, что какой-то писатель употребит тот или иной оборот, то или иное сочетание, можно произвольно сочетать слова и, систематически заменяя одно другим, меняя их порядок, интонацию, и т. п., наблюдать получающиеся при этом

смысловые различия, что мы постоянно и делаем, когда что-нибудь пишем. Я бы сказал, что без эксперимента почти невозможно заниматься этими отраслями языкознания. Люди, занимающиеся ими на материале мертвых языков, вынуждены для доказательства своих положений прибегать к поразительным ухищрениям, а многого и просто не могут сделать за отсутствием материала (примеры лингвистического эксперимента даны в особом экскурсе в конце статьи).

В возможности применения эксперимента и кроется громадное преимущество - с теоретической точки зрения - изучения живых языков. Только с его помощью мы можем действительно надеяться подойти в будущем к созданию вполне адекватных действительности грамматики и словаря [7]. Ведь надо иметь в виду, что в "текстах" лингвистов обыкновенно отсутствуют неудачные высказывания, между тем как весьма важную составную часть языкового материала образуют именно неудачные высказывания с отметкой "так не говорят", которые я буду называть "отрицательным языковым материалом". Роль этого отрицательного материала громадна и совершенно еще не оценена в языкознании, насколько мне известно.

В сущности то, что я называл раньше "психологическим методом" (или - еще неудачнее - "субъективным"), и было у меня всего методом эксперимента, только недостаточно осознанного. Впервые я стал его осознавать как таковой в эпоху написания моего "Восточнолужицкого наречия" ([т. I, Пгр.], 1915), впервые назвал я его методом эксперимента в моей статье "О частях речи в русском языке" (Русская речь, [Новая серия], II, 1928). Об эксперименте в языкознании говорит нынче и Пешковский (статья "Принципы и приемы стилистического анализа художественной прозы" в *Ars poetica*, [Сборники подсекции теоретической поэтики, I. М.], 1927; см. еще ИРЯС, I, 2, 1928, стр. 451), а раньше Тумб (A. Thumb. *Beobachtung und Experiment in der Sprachpsychologie. Festschrift Vietor, Marburg a. d. L.*, 1910), правда - последний в несколько другом аспекте. Впрочем, надо признать, что психологический элемент метода несомненен и заключается в оценочном чувстве правильности или неправильности того или иного речевого высказывания, его возможности или абсолютной невозможности.

Однако чувство это у нормального (см. ниже стр. 36) члена общества социально обосновано, являясь функцией языковой системы (величина социальная), а потому и может служить для исследования этой последней. И именно оно-то и обуславливает преимущество живых языков над мертвыми с исследовательской точки зрения.

В этом - ограничительном - смысле и следует понимать высказывания моих старых работ о важности самонаблюдения в языкознании. Для меня уже давно совершенно очевидно, что путем непосредственного самонаблюдения нельзя констатировать, например, "значений" условной формы глагола в русском языке. Однако, экспериментируя, т.е. создавая разные примеры, ставя исследуемую форму в самые разнообразные условия и наблюдая получающиеся при этом "смыслы", можно сделать

несомненные выводы об этих "значениях" и даже об их относительной яркости. При таком понимании дела отпадают все те упреки в "субъективности" получаемых подобным методом лингвистических данных, которые иногда делались мне с разных сторон: "мало ли что исследователю может показаться при самонаблюдении; другому исследователю это может показаться иначе". Как видно из всего вышеизложенного, в основе моих лингвистических утверждений всегда лежал получаемый при эксперименте языковой материал, т.е. факты языка. С весьма распространенной боязнью, что при таком методе будет исследоваться "индивидуальная речевая система", а не языковая система, надо покончить раз навсегда. Ведь индивидуальная речевая система является лишь конкретным проявлением языковой системы, а потому исследование первой для познания второй вполне законно и требует лишь поправки в виде сравнительного исследования ряда таких "индивидуальных языковых систем". В конце концов лингвисты, исследующие тексты, не поступают иначе. Готский язык не считается специально языком Ульфилы, ибо справедливо предполагают, что его письменная речевая деятельность была предназначена для понимания широких социальных групп. Говорящий тоже говорит не для себя, а для окружения. Разница, конечно, та, что в первом случае мы имеем дело с литературной речевой деятельностью (с "письменной", по терминологии Виноградова в его работе "О художественной прозе", [М.], 1929, стр. 15), имеющей очень широкую базу потребителей и характеризующейся между прочим, сознательным избеганием "неправильных высказываний" (о чем см. ниже), а во втором - с групповой речевой деятельностью диалогического характера.

Здесь надо устранить одно недоразумение: лингвистически изучая сочинения писателя (или устные высказывания любого человека), мы можем исследовать его речевую деятельность как таковую - получится то, что обыкновенно неправильно называют "языком писателя", но что вовсе не является языковой системой [8]; но мы можем также исследовать ее и как языковой материал для выведения индивидуальной речевой системы данного писателя, имея, однако, в виду, в конечном счете, установление языковой системы того языка, на котором он пишет. Конечно, картина будет неполная из-за недостаточности материала, и прежде всего из-за отсутствия отрицательного языкового материала, но многое можно будет установить с достаточной точностью [9], как показывает многовековой опыт языкознания.

Вообще надо иметь в виду, что то, что часто считается индивидуальными отличиями, на самом деле является групповыми отличиями, т.е. тоже социально обусловленными (семейными, профессиональными, местными и т. п.), и кажется индивидуальными отличиями лишь на фоне "общих языков". Языковые же системы общих языков могут быть весьма различными по своей развитости и полноте, от немного более нуля и до немного менее единицы (считая нуль за отсутствие общего языка, а

единицу - за никогда не осуществляемое его полное единство), и дают более или менее широкий простор групповым отличиям.

Строго говоря, мы лишь постулируем индивидуальные отличия индивидуальных речевых систем внутри примарной социальной группы, ибо такие отличия, как ведущие к взаимонепониманию, должны неминуемо исчезать в порядке социального общения, а потому никто на них никогда не обращал внимания, даже если они и встречались. Этим-то и объясняется всегда практиковавшееся отождествление таких теоретически несоизмеримых понятий, как "индивидуальная речевая система" (= психофизиологическая речевая организация индивида) и "языковая система", которым более или менее грешили все лингвисты до самого последнего времени.

В сущности, можно сказать, что работа каждого неопита данного коллектива, усваивающего себе язык этого коллектива, т.е. создающего у себя речевую систему на основании языкового материала этого коллектива (ибо никаких других источников у него не имеется), совершенно тождественна работе ученого исследователя, выводящего из того же языкового материала данного коллектива его языковую систему, только одна протекает бессознательно, а другая - сознательно.

Возвращаясь к эксперименту в языкознании, скажу еще, что его боязнь является пережитком натуралистического понимания языка [10]. При социологическом воззрении на него эта боязнь должна отпасть: в сфере социальной эксперименты всегда производились, производятся и будут производиться. Каждый новый закон, каждое новое распоряжение, каждое новое правило, каждое новое установление с известной точки зрения и в известной мере являются своего рода экспериментами.

Теперь коснусь еще вопроса так называемой "нормы" в языках. Наша устная речевая деятельность на самом деле грешит многочисленными отступлениями от нормы. Если бы ее записать механическими приборами во всей ее неприкосновенности, как это скоро можно будет сделать, мы были бы поражены той массой ошибок в фонетике, морфологии, синтаксисе и словаре, которые мы делаем (об этом см., впрочем, еще: [R.] Meringer und [K.] Meyer. *Versprechen und Verlesen. Eine psychologische linguistische Studie.* [Stuttgart,] 1895). Не является ли это противоречием всему тому, что здесь говорилось? Нисколько, и причем с двух точек зрения. Во-первых, нужно иметь в виду, что мы нормально этих ошибок не замечаем - ни у себя, ни у других: "неужели я мог так сказать?" - удивляются люди при чтении своей стенограммы; фонетические колебания, легко обнаруживаемые иностранцами, обыкновенно являются открытием для туземцев, даже лингвистически образованных. Этот факт объясняется тем, что все эти ошибки социально обоснованы; их возможности заложены в данной языковой системе, и они, являясь привычными, не останавливают на себе нашего внимания в условиях устной речи. Во-вторых, всякий нормальный член определенной социальной группы, спрошенный в упор по поводу неверной фразы его самого или его окружения, как надо правильно сказать, ответит, что

"собственно надо сказать так-то, а это-де сказалось случайно или только так послышалось" и т. п.

Впрочем, ощущение нормы, как и сама норма, может быть и слабее и сильнее в зависимости от разных условий, между прочим - от наличия нескольких сосуществующих норм, недостаточно дифференцированных для их носителей, от присутствия или отсутствия термина для сравнения, т.е. нормы, считаемой за чужую, от которой следует отталкиваться, и, наконец, от практической важности нормы или ее элементов для данной социальной группы [11].

Совершенно очевидно, что при отсутствии осознанной нормы отсутствует отчасти и отрицательный языковой материал [12], что в свою очередь обуславливает крайнюю изменчивость языка. Совершенно очевидно и то, что норма слабеет, а то и вовсе исчезает при смешении языков и, конечно, при смешении групповых языков, причем первое случается относительно редко, а второе - постоянно. Таким образом, мы снова приходим к тому положению, что история каждого данного языка есть история катастроф, происходящих при смешении социальных групп.

Возвращаясь к вопросам нормы, нужно констатировать, что литературная речевая деятельность, т.е. произведения писателей, в принципе свободна от неправильных высказываний, так как писатели сознательно избегают ляпсусов, свойственных устной речевой деятельности, и так как, обращаясь к широкому кругу читателей, они избегают и тех элементов групповых языков, которые не вошли в том или другом виде в структуру литературного языка. Поэтому лингвисты глубоко правы в том, что, разыскивая норму данного языка, обращаются к произведениям хороших писателей, обладающих очевидно в максимальной степени тем оценочным чувством ("чутьем языка"), о котором говорилось выше, на стр. 33. Однако и здесь надо помнить, во-первых, что у многих писателей все же встречаются ляпсусы [13], и, во-вторых, что по существу вещей произведения писателей не содержат в себе отрицательного языкового материала.

* * *

В заключение приведу несколько примеров лингвистического эксперимента (ср. стр. 32).

В качестве примера синтаксического эксперимента возьмем фразу *Никакой торговли не было в городе* [14]. Эта фраза переводится так: "торговля отсутствовала в городе" (надо иметь в виду, что в устном языке и фраза, и ее перевод могут иметь тройную ритмическую форму, каждая из которых имеет свое значение: "торговля - отсутствовала в городе", "торговля отсутствовала - в городе" и нерасчлененная, которая здесь и имеется в виду). Попробуем переставлять слова *в городе*. Получим, во-первых, *никакой торговли в городе не было* и, спросив себя, что это будет значить, переведем так: "торговля в городе отсутствовала" (возможно двоякое ритмическое членение); во-вторых, получим *никакой в городе торговли не было*, что прежде всего будет значить: "торговля в городе

отсутствовала вовсе" (иные ритмические членения могут дать и иные значения); в-третьих, получим *в городе не было никакой торговли*, что будет значить: "город не имел никакой торговли"; наконец, можно получить *никакой торговли не в городе было*, что ничего не значит, ибо так сказать нельзя, т.е. получился отрицательный языковой материал (впрочем, первая часть до слова "было" может быть осмыслена - "торговля вне города"). Нужно иметь в виду, что для полной убедительности эксперимента необходимо для каждого изменения мысленно создавать соответственный контекст или ситуацию.

Приведу пример эксперимента в морфологии. Допустим, что иностранный исследователь общерусского языка запишет такие формы 3 л. ед. ч., как *несёт, везёт, плетёт, ждёт, мнёт, ткёт, жгёт, жжот*. Что он из этого умозаключит, сидя у себя в кабинете? Он решит, очевидно, что форма 3 л. ед. ч. определенного типа глаголов образуется путем смягчения последнего согласного основы и прибавления окончания *-ёт* (точнее, *-от*) и что форма *жжот* является пережитком или диалектизмом. Только дальнейшая проверка на фактах (эксперимент) поможет ему ввести в правило ограничение, состоящее в том, что *к, г* основы не смягчаются, а меняются на *ч, ж*. Тогда *жжот* станет у него нормальной формой, а *ткёт, жгёт* - диалектизмами. Вполне ли, однако, это будет верно? Если начать образовывать формы (эксперимент) *печёт* и *пекёт, течёт* и *текёт, сечёт* и *секёт* и т.д., то окажется, что хотя первые формы и будут безусловно правильными, однако и вторые не будут абсолютно невозможными, какими были бы, например, формы *пекот, текот, секот* (эксперимент). Далее окажется, что форма *ткёт* предпочтительнее, чем *тчёт* (эксперимент); если же попробовать образовать форму 3 л. от малоупотребительного (в городе) глагола *ску* (эксперимент), то скажем, пожалуй, *скёт* и едва ли *щёт=счёт*. И вся картина становится совершенно ясной: формы *текёт, секёт, жгёт* и т. д. - это формы будущего языка. Пока они устанавливаются только там, где чередования *к||ч, г||ж* затемняют корень слова: ведь никто не скажет *жжа*, а *жгя* всякий поймет (эксперимент), формы же *печёт, течёт* и т. д. существуют лишь по традиции, хотя пока и не только в словарном порядке, но и в грамматическом.

А вот эксперимент в фонетике: возьмем русское сочетание *сел=s'el*. Спрашивается, какой гласный можно вставить в это сочетание вместо *e=e*? Пробуем: *сял, сёл, сюл, сил* - возможно. А можно ли вставить *e=e* из слова *сели=s'el'i*, т.е. сказать *s'el*? Оказывается, что такого сочетания в русском языке нет вовсе и что русский человек, нефонетик, даже не может его и произнести [15]. Следовательно, можно предполагать с большой долей уверенности, что *e, e* являются лишь оттенками единой фонемы, обусловленными лишь фонетическими условиями и не имеющими самостоятельной функции.

Все эти приемы, конечно, хорошо известны людям, на месте изучавшим чужой устный язык с целью его полного грамматического и словарного описания и усвоения (нужно всячески подчеркнуть, что последнее есть

необходимое условие первого), и я здесь лишь впервые теоретически обосновываю то, что практически, вероятно, многими делалось.

Примечания

1. Настоящая статья является дальнейшим развитием взглядов, которые намечены были впервые в моем докладе, читанном в Лингвистической секции 27 октября 1927 г.

2. Имею в виду здесь не только правила синтаксиса, но, что гораздо важнее, правила сложения смыслов, дающие не сумму смыслов, а новые смыслы, - правила, к сожалению, учеными до сих пор мало обследованные, хотя интуитивно отлично известные всем хорошим стилистам.

3. Случаи сознательного "выдумывания" слов довольно редки вообще, сознательное группирование слов свойственно лишь письменной речи, которая все же в целом строится тоже автоматически. Сознательность обыденной разговорной (диалогической) речи в общем стремится к нулю.

4. Позиция большинства лингвистов и даже Соссюра, ближе других подошедшего к этому вопросу, неясны. Соссюр хотя и различил четко "parole" (понятие, впрочем, далеко не вполне совпадающее с моим понятием "речевой деятельности") и "langue", однако помещает последний в качестве психологических величин в мозг (см. его замечательный "Cours de linguistique generale" [Paris, 1922], p. 32).

5. Впрочем, поскольку косноязычный сознает свое косноязычие и знает, как он должен был бы сказать, этот случай не является типичным.

6. А зачастую и для всех групп, как например французский язык для теперешних французов.

7. Я не говорю здесь о технике лингвистического эксперимента: она трудна и требует великого количества всяких предосторожностей. Записывать "тексты" может всякий; хорошо записывать тексты уже гораздо труднее; для того, чтобы быть хорошим экспериментатором, необходим специальный талант.

8. Я не думаю, чтобы такое исследование обязательно должно было совпадать с "психологией творчества" или с "психологией языка" (Sprachpsychologie). Мне кажется, что здесь возможны и чисто лингвистические подходы; но я не могу здесь обосновывать свои воззрения на этот предмет, так как это потребовало бы особого исследования.

9. Само собой разумеется, что в дальнейшем, для дополнения и сравнения, совершенно необходимо привлекать сочинения и других писателей, и чем больше, тем лучше. Стилистику без этого нельзя даже и построить, во всяком случае - полную стилистику.

10. В сущности, это подобный же пережиток, какой можно было наблюдать у Бругмана (и у многих других "младограмматиков"), когда он отрицал возможность искусственного международного языка, называя его вслед за Мейером (G. Meyer) homunculus'ом (Karl Brugmann und August Leskien. Zur Kritik der kunstlichen Weltsprachen. Strassburg, 1907, S. 26). Но не прав был и Бодуэн, который в разгаре обострившихся философских противоречий утверждал, что нет разницы между живым и мертвым языком, между живым и искусственным языком: достаточно кому-нибудь изучить мертвый язык, чтобы он стал живым (J. Baudouin de Courtenay. Zur Kritik der kunstlichen Weltsprachen. Ostwald's Annalen der Naturphilosophie, [Bd.] VI, [Leipzig, 1907]. Этого, конечно, мало: для того, чтобы стать живым, он должен стать хотя бы одним из нормальных орудий общения внутри какой-либо социальной группы, хотя бы минимальной.

11. Очень часто, особенно при смешении диалектов, норма может состоять в отсутствии нормы, т.е. в возможности сказать по-разному. Лингвист должен будет все же определить границы колебаний, которые и явятся нормой.

12. Говорю - отчасти, так как отрицательный языковой материал создается не только непосредственными исправлениями окружающих, но прежде всего фактическим непониманием: всякое речевое высказывание, которое не понимается, или не сразу понимается, или понимается с трудом, а потому не достигает своей цели, является отрицательным языковым материалом. Ребенок научается правильно просить чего-нибудь, так как его непонятные просьбы не выполняются.

13. Приведу примеры: "проникнуть в тайные *недопустимые* комнаты человеческой души" (Куприн. Штабс-капитан Рыбников); "*из двух шагов один раз* нога срывалась с вершины кочки и вязла" (Фет. Мои воспоминания) и т. д.

14. Эту и все следующие фразы следует читать без логических акцентов.